

Сол
Беллоу



Равельштейн

[роман]



Сол Беллоу
Равельштейн

«АСТ»

2000

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Coe)-44

Беллоу С.

Равельштейн / С. Беллоу — «АСТ», 2000 — (XX век — The Best)

ISBN 978-5-04-004150-3

«Равельштейн» — последний роман Сола Беллоу, созданный в 2000 г. на основе реальной биографии его старинного друга — известного философа и публициста Алана Блума, которого неоднократно именовали — кто с восхищением, а кто и с осуждением — «Макиавелли XX века». Учениками Алана Блума были самые консервативные и решительные «ястребы» американской политической элиты, он считался своеобразным «серым кардиналом» Белого дома. Степень влияния Блума на американскую политику в течение многих десятилетий трудно переоценить. О его эксцентричности и экстравагантности ходили легенды. Но каким же увидел его не человек «со стороны», не равнодушный биограф, а друг и великий знаток человеческих душ Беллоу?..

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-04-004150-3

© Беллоу С., 2000

© АСТ, 2000

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

31

Сол Беллоу Равельштейн

© Saul Bellow, 2000 Школа перевода В. Баканова, 2015

© Издание на русском языке AST Publishers, 2016

* * *

Хочу поблагодарить моего редактора Бину Камлани за ее талант и дар ясновидения. С.Б.

Странное дело, все благодетели мира – большие забавники. По крайней мере, в Америке это обычно так. Человек, который хочет управлять страной, должен перво-наперво уметь ее развлекать. В Гражданскую войну люди нередко жаловались на неуместные шуточки Линкольна. Он, вероятно, чувствовал, что чрезмерная серьезность куда опасней любого дуракаваляния. Однако критиканы считали его поведение фривольным, а военный министр и вовсе называл президента обезьяной.

Среди разоблачителей, ниспровергателей и насмешников, формировавших вкусы и умы моего поколения, самым выдающимся можно назвать Генри Луиса Менкена. Помню, как мои однокашники, подписчики журнала «Американ меркьюри», ночами читали его репортажи о ходе Обезьяньего процесса. Менкен яростно нападал на Уильяма Дженнингса Брайана, весь «библейский пояс» и американских обывателей, которых выделял в отдельный вид – «бубус американус». Клэрэнс Дэрроу, адвокат Спукса, олицетворял собой науку и прогресс. Брайан, креационист и критик эволюционизма, в глазах Дэрроу и Менкена был эдаким нелепым пережитком прошлого, мертвой ветвью эволюции. Его болтовня о биметаллизме и свободной чеканке серебряных монет стала предметом всеобщих насмешек, равно как старомодная риторика, годившаяся разве что для Конгресса, и гастрономические вкусы (он закатывал огромные фермерские пиры, которые, по словам Менкена, рано или поздно должны были свести его в могилу). Взгляды Брайана на сотворение мира подвергались постоянным нападкам в ходе судебного процесса; он прошел путь птеродактиля – неуклюжая версия идеи, которая потом имела успех – летающие ящеры превратились в теплокровных птиц, что сегодня порхают с ветки на ветку и поют.

Я заполнил целый блокнот цитатами из Менкена и прочих забавников и острословов вроде У. К. Филдса, Чарли Чаплина, Мэй Уэст, Хьюи Лонга и сенатора Дирксена. Там была даже страница, посвященная юмору Макиавелли. Но я не стану терзать вас своими рассуждениями о роли юмора и самоиронии в демократическом обществе. Не волнуйтесь. Я очень рад, что мой старый блокнот пропал, и больше не желаю его видеть. В этой книге он всплывает лишь раз в виде короткого упоминания – своего рода распространенной сноски.

Я всегда питал слабость к сноскам. Остроумные и колкие примечания, на мой взгляд, вытянули немало плохоньких текстов. И я отдаю себе отчет, что сейчас использую именно распространенную сноску для перехода к серьезной теме – и быстрого перемещения в Париж, в пентхаус «Отеля де Крийон». Начало июня. Время завтрака. Нас с женой принимает у себя мой хороший друг, профессор Равельштейн – Эйб Равельштейн. Мы поселились этажом ниже. Жена еще спит. Весь пятый этаж занимает Майкл Джексон и его свита (этот факт не имеет особого отношения к делу, но почему-то я не могу его не упомянуть). Каждый вечер поп-король выступает в огромных концертных залах Парижа. Очень скоро его французские фанаты соберутся под окнами отеля и, задрав головы, начнут хором орать: «Ми-кель Джек-соун!» Сдерживают толпу полицейские. Если смотреть на мраморную лест-

ницу сверху, видно телохранителей Майкла. Один из них разгадывает кроссворд в «Пари геральд».

– Как нам повезло с этим поп-цирком, а? – сказал Равельштейн.

Тем утром профессор пребывал в чудесном расположении духа. Он договорился с руководством гостиницы, чтобы ему дали этот завидный номер. Жить в Париже – да не где-нибудь, а в «Крийоне»! Наконец-то приехать сюда с деньгами. Больше никаких грязных номеров в отеле «Драгон волан» (или как он там назывался) на улице Дракона или в «Академи» на рю де Сен-Пер, с окнами на медицинский университет. Роскошной «Крийона» отелей просто не существует; именно здесь останавливалась вся американская верхушка на время переговоров после Первой мировой.

– Здорово, правда? – вновь спросил Равельштейн, бурно жестикулируя.

Я согласился. Мы жили в самом сердце Парижа – под нами были площадь Согласия с обелиском, музей Оранжери, Бурбонский дворец, Сена с ее помпезными мостами, дворцами и садами. Конечно, все это радовало глаз и само по себе, но вдвойне приятней было любоваться парижскими видами из пентхауса Равельштейна. А ведь еще в прошлом году его долги перевалили за сто тысяч. Он в шутку называл их «амортизационным фондом».

– С такими долгами мне уже никакие финансовые удары не страшны. Ты ведь знаешь, что это такое?

– Амортизационный фонд? Догадываюсь.

Но и до того, как Равельштейн разбогател, ни у кого не возникало недоумения по поводу его потребности в костюмах «Армани», чемоданах «Луи Виттон», запрещенных кубинских сигарах, золотых ручках «Мон Блан» и хрустальных винных бокалах «Лалик» и «Баккара». Равельштейн был из крупных мужчин (высоких, а не толстых), и его руки начинали трястись при выполнении сложных манипуляций. Дело было не в слабости, а в расправшей его изнутри неумеренной энергии.

Что ж, его друзьям, коллегам, ученикам и поклонникам больше не надо было раскошелиться, дабы потакать его барским замашкам. Минуло то время, когда Эйб осуществлял сложную торговлю и обмен серебром Йенсена, сподовской посудой и кемперским фаянсом. Равельштейн разбогател. Его идеи получили огласку и признание. Он написал книгу – сложную, но популярную, – вдохновенную, умную, воинственную книгу, и теперь она успешно продавалась на обоих полушариях и по обеим сторонам экватора. Дело было сделано быстро, но с толком: никаких дешевых уступок, популяризаторства, интеллектуального жульничества, никакой *апологетики* или бахвальства. Равельштейн имел полное право выглядеть так, как выглядел сейчас, когда официант накрывал на стол завтрак. Интеллект помог ему сделаться миллионером. Это тебе не фунт изюма – добиться славы и богатства, высказывая свое мнение – открыто, без обиняков и компромиссов.

В то утро на Равельштейне было кимоно, голубое с белым – подарок из Японии, где он в прошлом году читал лекции. Его спросили, что бы он хотел получить в подарок, и он сказал, что давно мечтает о настоящем кимоно. Этот образчик явно был сшит на заказ и пришелся бы впору какому-нибудь сегуну. Равельштейн был очень высок ростом (впрочем, не слишком грациозен). Его великолепное одеяние, только перехваченное посередине поясом и больше чем наполовину распахнутое, обнажало невероятно длинные тощие ноги и нижнее белье.

– Официант говорит, Майкл Джексон не желает есть творения крийонского шефа, – сказал Равельштейн. – Он повсюду возит с собой личного повара, и стряпня местного ему не годится – хотя она вполне устраивала Ричарда Никсона, Генри Киссинджера и целую прорву всяких шахов, королей, генералов и премьер-министров. А эта гламурная обезьянка, видите ли, воротит нос! Нет ли в Библии строк про покалеченных царей, питающихся объедками со стола их завоевателя?

– Вроде бы есть. Там еще про отсеченные большие пальцы на руках и ногах. Но при чем тут «Отель де Крийон» и Майкл Джексон?

Эйб рассмеялся и ответил, что сам толком не знает – просто в голову пришло. Здесь, наверху, фанатский дискант – глас хором орущих парижских подростков – смешивался с гулом автобусов, грузовиков и такси.

Итак, мы чудесно пили кофе на фоне исторических пейзажей. Настроение у Равельштейна было отменное, но мы старались говорить тихо: Никки, спутник Эйба, еще спал. В Штатах у Никки была привычка до четырех утра смотреть сингапурские боевики, да и здесь он ложился уже под утро. Чтобы не потревожить его блаженный сон, официант сдвинул скользящие двери, и я время от времени взглядывал сквозь окошко на его округлые руки и зыбкие каскады длинных черных волос, рассыпавшиеся по блестящим плечам. В свои тридцать Никки еще мог похвастаться юношеской красотой.

Вошел официант с земляникой, бриошами, джемом и кастрюльками, которые меня научили называть «гостиничным серебром». Эйб сунул в рот булочку и тут же принялся размашисто расписываться на счете. Я ел куда аккуратнее. Когда я смотрел на Равельштейна за едой, мне казалось, что на моих глазах происходит некий биологический процесс: он подбрасывал топливо в систему, насыщал мозг, питал новые идеи.

В то утро Эйб в очередной раз склонял меня к тому, чтобы посвятить себя более общественно значимым темам, уйти от личной жизни в «большую жизнь, в политику». Он давно просил меня попытать силы в биографическом жанре – и я согласился. По его просьбе я написал короткую статью о взглядах Дж. М. Кейнса на военные репарации, которые Германия вынуждена была выплачивать после заключения Версальского мира и снятия блокады в 1919 году. Мои труды прились Равельштейну по вкусу, но он считал, что я способен на большее. Ты, говорил он, чересчур витиевато пишешь. Я ему отвечал, что слишком большой упор на сухие факты сужает мой интерес к предприятию.

Лучше уж признаюсь в этом сейчас: в школе у меня был учитель английского и литературы по имени Морфорд («Безумный Морфорд», так мы его звали), велевший нам однажды прочесть статью Маколея о босуэлловском «Джонсоне». Не знаю, была это идея самого Морфорда или произведение действительно входило в учебную программу. Статью, которая едва не довела меня до горячки, Маколею в XIX веке заказала Британская энциклопедия. Маколевская версия «Жизни», «изошренность» джонсоновского мышления потрясли меня до глубины души. С тех пор я прочел немало критических мнений о викторианских излишествах Маколея, но так и не излечился – да что там, я и не хотел излечиваться – от своей любви к автору. Благодаря Маколею я до сих пор представляю воочию, как Джонсон хватался за фонарные столбы, ел тухлое мясо и прогорклые пудинги.

Какой линии придерживаться при написании биографии – вот что стало для меня проблемой. Можно было взять за образец того же Джонсона, сочинившего мемуары о своем друге Ричарде Сэвидже. Еще был, разумеется, Плутарх. Когда я упомянул Плутарха одному ученому-эллинисту, тот снисходительно обозвал его «всего лишь литератором». Но ведь без Плутарха не было бы «Антония и Клеопатры», так?

Еще я всерьез поглядывал на «Короткие жизнеописания» Обри.

Однако нет смысла приводить здесь полный список.

Я попытался описать Равельштейну мистера Морфорда. Безумный Морфорд никогда не приходил в класс пьяным, но явно много пил – у него была багровая физиономия запойного пьяницы. Каждый день он надевал один и тот же костюм, купленный на какой-нибудь распродаже по случаю «уничтожения складов». Он не хотел никого знать и не хотел, чтобы его знали. Растерянный взгляд его испитых голубых глаз никогда не был направлен на человека – коллегу или ученика – только на стены, в окно, в книгу. За одну четверть мы успели изучить с ним маколеевского «Джонсона» и шекспировского «Гамлета». Джонсон, несмотря

на золотуху, водянку и оборванство, все же обзавелся немалым количеством друзей; он писал книги так, как Морфорд вел уроки, слушая в нашем исполнении вызубренное наизусть: «Каким докучным, тусклым и ненужным мне кажется все, что ни есть на свете!» Коротко остриженная голова, воспаленное лицо, руки сцеплены за спиной. В самом деле, каким докучным и ненужным...

Равельштейна мой рассказ не слишком впечатлил. И зачем я вообще решил поделиться с ним воспоминаниями о Морфорде? Но все же Эйб не зря заставил меня написать очерк о Кейнсе. Кейнс, влиятельнейший экономист и государственный муж, известный всем своей работой «Экономические последствия мира», строчил друзьям по блумсберийскому кружку письма и заметки о прениях касательно военных репараций между поверженной Германией, лидерами стран-союзников – Клемансо, Ллойдом Джорджем – и американцами. Равельштейн, не слишком щедрый на похвалы, сказал, что я первоклассно написал об этих кейнсовских заметках. Впрочем, Хайека как экономиста он ставил куда выше, чем Кейнса. Кейнс, по его мнению, преувеличивал беспощадность стран-союзников, тем самым играя на руку немецким генералам и в конечном итоге – фашистам. Версальский договор еще мягко обошелся с Германией. Военные цели Гитлера в 1939-м мало чем отличались от целей кайзера в 1914-м. Однако, если не принимать во внимание эту досадную ошибку Кейнса, достоинств у него было немало. Получив образование в Итоне и Кембридже, он затем вращался среди интеллектуалов блумсберийского кружка, где совершенствовался в социальном и культурном плане. Большая политика сделала из него человека. Полагаю, в личной жизни он считал себя уранистом – англичане стыдливо называют так гомосексов. Равельштейн упоминал, что Кейнс женился на русской балерине. Еще он мне рассказал, что Уран был отцом Афродиты, а вот матери у нее не было. Она родилась из пены морской. Такие вещи он говорил вовсе не потому, что считал меня невеждой – просто в данный момент ему хотелось обратить мое внимание именно на них. Он еще раз напомнил, что Урана убил и оскотил титан Кронос, а ураново семя пролилось в море. И это имело какое-то отношение к репарациям и к тому факту, что Германия, во времена Кейнса находившаяся под блокадой, умирала с голоду.

Равельштейну, который по одному ему известным причинам предложил мне написать об этой работе Кейнса, лучше всего запомнились куски, описывающие неспособность немецких банкиров выполнить условия Франции и Англии. Французы мечтали завладеть кайзеровскими золотыми запасами; они требовали передать им золото немедленно. Англичане готовы были довольствоваться твердыми валютами. Один из представителей Германии был еврей. Ллойд Джордж, выйдя из себя, накинулся на этого человека и стал изображать жида: ползал, хромал, сутулился, плевался, отклячивал зад, картавил и прочее. Все это Кейнс подробно описал своим друзьям. Равельштейн был невысокого мнения о блумсберийских интеллектуалах. Ему не нравилось их умышленно экстравагантное поведение и то, что он называл «пидорскими замашками». За сплетни он их не судил – и не мог судить, ибо сам обожал сплетничать. Однако он видел в блумсберийцах не мыслителей, а снобов и их влияние считал губительным. Шпионы, которых в Англии позже вербовали в ГПУ и НКВД, были вскормлены именно блумсберийским кружком.

– Зато ты роскошно описал мерзкую пародию Ллойда Джорджа на *youpin*.

Youpin в переводе с французского означает «жид».

– Спасибо, – ответил я.

– Не хочу вмешиваться, – сказал Равельштейн, – но, согласись, я для твоего же блага стараюсь.

Безусловно, я понимал его мотивы. Он хотел, чтобы я написал его биографию, и вместе с тем надеялся избавить меня от губительных привычек. По его мнению, я увяз в личной жизни и должен был вернуться в общество. «Годы интроверсии даром не проходят!» – говорил он. Мне следовало срочно окунуться в политику – не в местную и даже не в наци-

ональную, но в политику как ее понимали Аристотель или Платон, то есть коренящуюся в человеческой природе. От природы не уйдешь. Я признал, что чтение тех материалов о Кейнсе и написание очерка стали для меня своего рода отдушиной. Эдакая встреча с живыми людьми, выход в общество после долгого затворничества. Порой я чувствую необходимость спуститься в метро во время часа пик или посетить многолюдную вечеринку – я это называю «окунуться в людей». Как скотине иногда надо полизать соль, так я порой нуждаюсь в телесном контакте.

– О Кейнсе я почти ничего не знаю: какие-то скудные разобщенные сведения о его нападках на Версальский договор, Всемирном банке и Бреттонвудском соглашении. Словом, при необходимости я могу вписать его имя в кроссворд, – говорил я Равельштейну. – Так что я рад, что ты привлек мое внимание к его переписке с друзьями. Блумсберийцы наверняка как манны небесной ждали его отчетов с конференции. Благодаря ему у них были места в первом ряду, у самой арены. Литтон Стрейчи и Вирджиния Вульф, готов поспорить, не видели жизни без его писем. Они ведь воплощали высшие интересы британского общества и были обязаны все знать, это был их долг – профессиональный долг как художников.

– А что с еврейской стороной дела?

– Кейнс антисемитизма не одобрял. Если помнишь, на переговорах он только с тем евреем из немецкой делегации и подружился.

– Понятно, блумсберийцам не мог угодить такой простак, как Ллойд Джордж.

Впрочем, Равельштейн знал цену окружению. У него было собственное окружение, состоявшее главным образом из студентов, которым он преподавал политическую философию, и давних друзей. Большинство из них получили то же образование, что и сам Равельштейн, учились у профессора Даварра и пользовались той же эзотерической терминологией. Некоторые ученики Равельштейна – из тех, что постарше, – в итоге заняли высокие должности или работали в национальных газетах. Многие служили в Госдепартаменте. Одни читали лекции в Военной академии, другие состояли в штабе советника президента по национальной безопасности. Один был протеже Пола Нитце. Другой – диссидент и вольнодумец – вел собственную колонку в «Вашингтон таймс». Некоторые были по-настоящему влиятельны, все – хорошо осведомлены; то был узкий кружок, группа единомышленников. Они регулярно докладывались Равельштейну, и у себя дома он часами висел на телефоне с бывшими учениками. В каком-то смысле он умел хранить секреты – имен он никому не называл. И даже в тот день в «Отеле де Крийон» между его голых коленей был зажат телефонный аппарат. Японское кимоно спадало с молочно-белых ног Равельштейна. У него были икры человека, ведущего сидячий образ жизни – длинные берцовые кости, тощие, лишённые округлостей мышцы. Несколько лет назад, когда с Равельштейном случился сердечный приступ, врачи настоятельно рекомендовали ему заняться спортом. Он купил дорогой спортивный костюм и стильные кроссовки, пару дней помучился на беговой дорожке и забросил это дело. Здоровый образ жизни был ему не по душе. К своему телу он относился как к средству передвижения – байку, на котором он мчался по кромке Большого каньона.

– Насчет Ллойда Джорджа я ничуть не удивлен, – говорил Равельштейн. – Все-таки мерзкий типчик. В тридцатых он встречался с Гитлером и остался о нем высокого мнения. Гитлер вообще был мечтой политических лидеров. Любые его желания исполнялись – причем быстро. Без разговоров и лишних заморочек. Это тебе не парламент. – Мне приятно было слушать разглагольствования Равельштейна о том, что он называл «большой политикой». Часто он говорил о Рузвельте и Черчилле, питал глубокое уважение к де Голлю. Время от времени его заносило. В тот раз, к примеру, он заикнулся на «едкости» Ллойда Джорджа.

– Едкость – хорошее слово.

– В плане языка британцы нас обскакали. Особенно когда великая империя начала истекать кровью и язык стал для них чуть ли не единственным прибежищем.

– Как шлюха из гамлетовского монолога, что отводит душу словами.

Равельштейн, обладатель крупной мощной головы, всегда непринужденно рассуждал на серьезные темы и позволял себе громкие высказывания; он без труда жонглировал десятилетиями, веками и эрами. Впрочем, не чужды ему были и современные герои вроде Мела Брукса – он легко мог перескочить с трагедии Фукидида на Моисея в бруксовском исполнении. «Он спускается с горы Синай, держа в руках скрижали Завета. Господь вручил ему двадцать заповедей, но десять Мел Брукс роняет, увидев, как израильский народ скачет вокруг золотого тельца».

В общем и целом Равельштейн остался весьма доволен моим очерком о Кейнсе. Черчилль называл Кейнса умнейшим человеком, провидцем, – а Черчилля Эйб обожал. Как экономисту никто не годился в подметки Милтону Фридману, но Фридман был одержим идеей свободного рынка и плевать хотел на культуру, в то время как Кейнс отличался редким умом и утонченностью вкусов. Однако насчет Версальского договора он дал маху и в политике ничего не смыслил – об этом предмете у Равельштейна было свое, весьма своеобразное представление.

«Люди» Эйба в Вашингтоне столь часто звонили ему по телефону, что однажды я сказал: «Да ты прямо тайный лидер теневого правительства». Он принял мое замечание с такой улыбкой, словно это я – странный, а не он.

– Студенты, которым я преподавал последние тридцать лет, до сих пор обращаются ко мне за напутствием; благодаря телефону я могу вести для них своего рода бесконечный семинар – связывать вопросы современной политики с Платоном, Локком, Руссо или даже Ницше, которых они изучали два или три десятилетия назад.

Получать одобрение Равельштейна было приятно, и бывшие студенты постоянно возвращались к любимому преподавателю: с ним часами болтали по телефону сорокалетние мужи, чьи слова и поступки сыграли свою роль в событиях в Персидском заливе. «Я очень ценю эти отношения – они для меня превыше всего». Знать, что происходит на Даунинг-стрит или в Кремле было для Равельштейна столь же естественно, как для Вирджинии Вульф – читать отчеты Кейнса «для своих» с переговоров по немецким репарациям. Возможно, мнения Равельштейна по тем или иным вопросам в конечном счете даже влияли на политические решения, но ему было важно не это: он хотел до последнего курировать политическое образование своих «старичков». В Париже у него тоже были приверженцы. Ему регулярно звонили молодые люди, посещавшие его лекции в Высшей школе социальных наук и недавно вернувшиеся из командировки в Москву.

Всегда на связи с Равельштейном были и любовники, и друзья. У него дома, рядом с просторным черным кожаным диваном, где он отвечал на звонки, стояла сложная электронная панель, с которой он блестяще управлялся – я бы так никогда не сумел, я вообще не в ладах с техникой.

А уж о телефонных счетах он мог больше не беспокоиться.

Но я отвлекся. Мы все еще в «Отеле де Крийон».

– У тебя хорошее чутье, Чик, – сказал Равельштейн. – Нигилизму бы прибавить – будет совсем славно. Ориентируйся на Селина с его нигилистической комедией, фарсом. Презренная баба кричит своему дружку, Робинзону: «Тебе плевать на мою любовь? Растолкуй, почему это я стала тебе противна. *Qui, tu ne bandes pas?* У тебя что, не стоит, как у других? Не стоит, сволочуга?»¹ Для нее стояк и любовь – одно и то же. Но у нигилиста Робинзона нет принципов, кроме одного: не врать о самом важном. Он готов на любые подлости и гадости, однако здесь он проводит черту, и обиженная шлюха в него стреляет, потому что не может добиться от него признания в любви.

¹ Луи Фердинанд Селин. «Путешествие на край ночи». Перевод Ю. Корнеева.

– По мнению Селина это и есть – искренность?

– Нет, я о другом. Над хорошей книгой хочется плакать и смеяться. Вот что нужно читателю. История с этим Робинзоном – в сущности, воспроизведение средневековой драмы, в которой даже самые отъявленные негодяи и преступники рано или поздно возвращаются к Пресвятой Деве. Но здесь нет никакого противоречия. Я хочу, чтобы про меня ты написал так же, как про Кейнса, только масштабнее. Да, и ты к нему слишком благосклонен. Со мной можешь не церемониться. Ты ведь тоже не пай-мальчик, каким кажешься, – глядишь, описав меня без прикрас, ты и сам обретишь свободу, раскрепостишься.

– Свободу от чего, интересно?

– От дамоклова меча, который над тобой висит.

– Дамокл-шмалокл...

Происходи эта беседа в каком-нибудь ресторане, люди за соседними столиками непременно решили бы, что мы рассказываем друг другу скабрзные анекдоты. Равельштейн заржал, как раненая лошадь на «Гернике» Пикассо: вскинувшись и задрал голову назад.

Эйб считал, что оставляет мне наследие: тему для книги, достойную тему, быть может, лучшую из всех, что у меня были, единственно важную тему. Но я-то понимал, что это означает: ему придется умереть первым. Если бы я каким-то образом помер раньше него, он уж точно не стал бы писать обо мне мемуары. В лучшем случае я удостоился бы страницы текста – короткой речи на поминках. Однако же мы были близкими друзьями, ближе не придумаешь. Мы смеялись над смертью; смерть вообще обладает таким свойством – обострять чувство юмора. Но смеялись мы по разным причинам. То, что самые серьезные из идей Равельштейна, облеченные в форму книги, сделали его миллионером, было, конечно, очень забавно. Только гений капитализма способен монетизировать собственные мысли, взгляды, учения. Не забывайте, что Равельштейн в первую очередь был учителем. Он не относился к числу тех консерваторов, которые идеализируют свободный рынок. У него было собственное мнение по всем политическим и моральным вопросам. Однако я не хочу сейчас говорить о его идеях и взглядах, наоборот, я буду всеми силами этого избегать. Постараюсь быть краток. Равельштейн был педагогом. Его идеи, отраженные на бумаге, принесли ему баснословные деньги, огромное состояние. Он тратил доллары почти с такой же скоростью, с какой они поступали на его счет. Сейчас, к примеру, он обдумывал пятимиллионный контракт с издательством на новую книгу. Лекциями Эйб тоже зарабатывал немало. И, наконец, он был глубоко ученый человек. Никто с этим не спорил. Неученый человек не сумел бы объять современность во всей ее сложности и заработать на этом. На светских мероприятиях он вел себя фриковато, но на сцене его доводы приобретали удивительную четкость и обоснованность. Все сразу понимали, о чем он говорит. Люди начали полагать, что высшее образование – их святое право. Белый дом это утвердил. Студентов стало «как собак нерезаных». Средняя ежегодная плата за учебу в университете составляет тридцать тысяч долларов. Но чему учат нынешнюю молодежь? Требования к студентам упали, а на смену пуританству пришел релятивизм: что справедливо для Сан-Доминго, то неприемлемо в Паго-Паго, а значит, и любые моральные нормы – ненужный анахронизм.

Здесь необходимо заметить, что Равельштейну были не чужды удовольствия и любовь. Напротив, любовь он считал едва ли не высшим благом, дарованным человеку. Душа, лишенная желаний и страсти, – увечная душа, покалеченная, смертельно больная. Нам подсунули биологическую модель, которая отвергает существование души и подчеркивает важность оргиастической разрядки (биостатика и биодинамика). Я не стану сейчас разглагольствовать об эротических учениях Аристофана, Сократа или Библии. За этим – прошу к Равельштейну. Иерусалим и Афины он считал двойной колыбелью цивилизации. Однако Иерусалим и Афины – не моя тема, удачи вам в самостоятельном ее освоении. Я был слишком стар, чтобы становиться учеником Равельштейна. Сейчас хочу только заметить, что его прини-

мали всерьез даже в Белом доме и на Даунинг-стрит. Однажды он гостил у миссис Тэтчер в ее загородной резиденции. Да и президент США не обделял его вниманием. Когда Рейган пригласил его на ужин, Равельштейн потратил целое состояние на смокинг, кушак, бриллиантовые запонки и кожаные туфли. Один колумнист из «Дейли ньюз» писал, что Равельштейн швыряется деньгами практически в прямом смысле слова – еще немного, и начнет выбрасывать их из окна мчащегося на всех парах поезда. Эйб с хохотом показывал мне эту вырезку. Все происходящее невероятно его смешило. А у меня, конечно, были совсем другие поводы для смеха. В отличие от него меня не подхватывали огромные гидравлические силы страны.

Хотя я был изрядно старше Равельштейна, мы стали близкими друзьями. В моем и его характере присутствовали юношеские черты, и это сглаживало разницу лет. Один мой знакомый говорил про меня, что в душе я преступно невинен – взрослый человек не имеет права на такую наивность. Как будто я мог что-то с этим поделать! И потом, даже самые наивные люди знают, что им нужно. Очень простые женщины чувствуют, когда приходит пора расстаться с трудным мужем – и когда надо вывести деньги с общего счета в банке. Меня вопросы самосохранения никогда особо не волновали. Но, к счастью – или нет? – мы живем в эпоху изобилия. Никогда – в материальном смысле – крупные нации не были лучше защищены от голода и болезней. Частичное избавление от необходимости бороться за выживание делает людей наивными. Под этим я имею в виду, что они безудержно предаются самообману. Повинуясь некому негласному соглашению, ты принимаешь условия – заведомо ложные, – на которых выезжают другие. Убиваешь в себе критическое мышление. Душишь свою проницательность. А через годик-другой начинаешь выплачивать крупные суммы по чудовищному брачному договору, подписанному с «ничего не смыслящей в материальных вопросах» женщиной.

Рваное, фрагментарное повествование – наверное, нет лучше способа рассказать о таком человеке, как Равельштейн.

В то июньское утро в Париже я поднялся в его пентхаус не затем, чтобы обсуждать задуманный биографический очерк, а с целью немного расспросить его о родителях и детстве. Лишние подробности мне были ни к чему, тем более к тому времени я уже знал в общих чертах его семейную историю. Равельштейны были родом из Дейтона, Огайо. Его мать – эдакий мотор семьи, ее движущая сила – окончила университет Джона Хопкинса. Отца, неудачливого местного представителя крупной национальной организации, в конце концов сослали в Дейтон. Толстый невротичный коротышка, истерик и сторонник строгой дисциплины, он регулярно сдирал с маленького Эйба штаны и порол его ремнем. Эйб восхищался матерью, ненавидел отца и презирал сестру. Однако Кейнс (вернемся к нему ненадолго) практически ничего не пишет о семейной истории Клемансо. Клемансо был матерым циником, не доверял немцам и за стол переговоров садился в серых лайковых перчатках. Но не будем о перчатках – все-таки я не психобиографию пишу.

Тем утром, однако, Равельштейн не был настроен вспоминать детство.

Площадь Согласия понемногу теряла свою утреннюю свежесть. Движение под окнами еще не вошло в полную силу, но в воздухе уже сгустился июньский зной. На солнце наш пульс немного замедлился. Когда первая волна чувств – приятное щекоотание в сердце, упирающееся победой над бесчисленными нелепостями жизни, – схлынула, камера словно наехала на Эйба и взяла его крупным планом: вшивый профессор политической философии обнаружил себя на самой вершине Парижа, среди нефтяных магнатов в «Отеле де Крийон», или среди топ-менеджеров в «Ритце», или среди плебеев в отеле «Мерис». В ярких лучах солнца наша беседа на мгновение стихла; Равельштейн то ли потерял мысль, то ли устал – его полукруглые брови съехали куда-то вниз, с приоткрытых губ не слетало ни звука. Глядя

на его лысую голову, я всегда думал, что на ней отпечатались пальцы скульптора, который ее изваял. Сам Равельштейн словно бы перенесся куда-то очень далеко. С ним такое бывало: его открытые глаза вдруг переставали вас видеть. Поскольку Эйбу редко удавалось проспать всю ночь напролет, днем он то и дело – особенно в теплую погоду – ненадолго выпадал из жизни, терял связь с происходящим, забывался. Его длинные руки плетью обвисли по бокам кресла, разные ступни (одна нога на три размера больше другой) разъехались в стороны. И дело было не только в прерывистом ночном сне; причина его внезапных отключек крылась в постоянном возбуждении, взвинченности, напряжении ума и чувств.

В то утро его усталость объяснялась, вероятно, вчерашним ужином – грандиозным пиром в ресторане «Лука-Картон» на площади Мадлен. Чтобы переварить столько еды, нужно немало сил. Главным блюдом был цыпленок в меду, запеченный в глине – рецепт сего древнегреческого блюда недавно был обнаружен археологами в ходе раскопок на Эгейских островах. Наш великолепный стол обслуживали по меньшей мере четыре официанта. Сомелье с объемистой связкой ключей отвечал за наполнение бокалов. К каждому блюду подавалось соответствующее вино; остальные официанты тем временем с ловкостью акробатов расставляли серебро и фарфор. На лице Равельштейна царил выражение безумного счастья. Он был в ударе: то и дело хохотал и заикался. «Здесь... э-э-э... лучшая кухня в Европе! Чик у нас... э-э-э... большой скептик во всем, что касается Франции. Он считает, что французы... э-э-э... только стряпней и могут прикрыть свой позор 40-х, когда Гитлер танцевал тут победную джигу. Чик... э-э-э... видит *la France rougie*² в Сартре, в их презрении к Штатам, в любви к сталинизму, даже в их философии и теоретической лингвистике. Э-э-э... герменевтика – он называет ее... э-э-э... *гармоневтикой* – это такие маленькие сэндвичи, которыми музыканты закусывают в перерывах. Но признай, Чик, так тебя больше нигде не накормят. Заметь, э-э-э... как сияет Розамунда. Эта женщина знает толк в еде и... э-э-э... правильной подаче! Никки тоже умеет распознать хорошую кухню, ты ведь не будешь это отрицать, Чик.

Нет, не буду. Никки учился в швейцарской школе гостиничного менеджмента. Больше я ничего не скажу, поскольку память у меня на такие подробности никудышная, но Никки был профессиональный метрдотель. Он иногда надевал хвостатый фрак и, прыска со смеху, демонстрировал нам с Равельштейном свои умения.

Вчерашний ужин Эйб закатил в мою честь. Так он благодарил друга Чика за помощь в написании бестселлера. Идея проекта, говорил он, целиком принадлежит мне – это я подбил его написать книгу, и без меня ее бы попросту не было. Эйб всегда скромно и великодушно это признавал: «Чик меня надоумил!»

Можно провести параллель между феноменом неблагополучных районов и духовным раздраем, царящим в Америке – победительнице холодной войны и единственной уцелевшей сверхдержаве. К этой мысли сводятся все книги и статьи Равельштейна. Погрузив читателя сперва в античность, затем в эпоху Просвещения, пройдясь по Локку, Монтескье, Руссо, Ницше и Хайдеггеру, он переносил вас в настоящее – в корпоративную Америку с ее высокими технологиями, культурой, развлечениями, прессой, образовательной системой, фабриками идей и политикой. В общих чертах он обрисовал картину массовой демократии и характерного для нее – весьма неприглядного – человеческого продукта. В забитой битком аудитории он кашлял, заикался, курил, гоготал, вопил, вызывал студентов на поединок, экзаменовал и разделял под орех. Он не спрашивал: «Где вы проведете вечность?», как делали сектанты, предсказывающие скорый конец света, он формулировал вопрос иначе: «Чем, в условиях современной демократии, вы будете удовлетворять потребности своей души?»

Этот высоченный тип в дорогом полосатом костюме и с внушительной лысиной (казалось, есть что-то опасное в ее белизне, в этой белой мощи, в этих вмятинах) вставал за

² Загнивающая Франция (*фр.*).

кафедру не затем, чтобы вбивать в головы студентам правильный порядок эпох (век веры, век разума, эпоха романтизма). Он не строил из себя великого ученого или университетского бунтаря. Забастовки и студенческие перевороты 60-х значительно затормозили развитие страны, считал Равельштейн. Он не пытался эпатировать – а на самом-то деле, развлекать – аудиторию матерными словечками. В нем не было ничего от университетского сумасшедшего. Он не скрывал от студентов свою немощь и всегда, вплоть до одержимости, знал, что это такое – пойти ко дну по вине собственных изъязнов и ошибок. Но прежде чем утонуть окончательно, он должен был описать вам Платонову пещеру, рассказать о вашей душе, уже и без того истонченной – и стремительно усыхающей с каждым днем.

Равельштейн притягивал к себе одаренных студентов. Его аудитории всегда были полны. И вот мне пришло в голову, что неплохо бы ему перенести на книжные страницы то, что он говорит *viva voce*³. Эйбу ничего не стоило написать популярную книгу.

И потом, я откровенно устал от его нытья по поводу скудного заработка, от его барских замашек, от бесконечных сделок с ломбардами, куда он закладывал свои сокровища – йенсенский чайник или старинный кемперский фаянс. Однажды я в тоске прослушал очередную историю о том, как некий Сесил Моерс, ныне кандидат наук, писавший кандидатскую под руководством Равельштейна, одолжил ему пять тысяч долларов под залог великолепного йенсенского чайника, а потом, не получив денег обратно, продал этот самый чайник за десять тысяч; я не выдержал и заявил:

– И долго еще я буду выслушивать твои занудные рассказы об этих занудных чайниках и прочих предметах роскоши? Сколько можно? Слушай, Эйб, если ты живешь не по средствам, точно какой-нибудь разорившийся аристократ, которому как воздух необходимы красивые вещи, почему бы тебе попросту не увеличить свои доходы?

Тут, помню, Равельштейн закрыл руками уши (руки у него были весьма изящные, уши же – безобразные) и помотал головой.

– Мне что, устроиться в агентство эскорт-услуг?

– Ну, стриптизер из тебя выйдет никудышный. А вот за какого-нибудь собутыльника или собеседника вполне сойдешь. Только меньше тысячи долларов за вечер не бери... Да нет же! Я говорю про книгу. Из твоих лекций можно накропать бестселлер.

– Ага. Как бедный филдинговский священник Адамс, который поехал в Лондон публиковать свои проповеди. Ему понадобились деньги, а за душой у него ничего, кроме проповедей, не было. Он их все записывал. А я, между прочим, ничего не записываю. Ты, Чик, известный писатель, тебя печатают, вот ты и смотришь со своей колокольни. Напомнил мне про Дуайта Макдональда. Однажды он сказал своему другу Венецкому, который недавно прогорел – причем по полной программе: «Если ты на мели, Венецкий, почему бы тебе не продать одну из своих облигаций? Это ведь нетрудно». Ему даже в голову не пришло, что у Венецкого попросту *нет* никаких облигаций. У Макдональдов они были, а у Венецких – нет.

– Макдональд как Мария-Антуанетта.

– Точно! – захохотал Равельштейн. – Есть такой старый анекдот времен Великой депрессии. Бродяга пристал на улице к богатой старушонке и кланчит деньги: «Мадам, я не ел три дня!» А старуха ему: «Как можно, голубчик, надо себя заставлять!»

– Ты же ничего не теряешь. Только приготовь предложение – тебе наверняка выдадут небольшой аванс. Тысячи две с половиной долларов минимум, а по моим прикидкам – все пять. Даже если ты в итоге не напишешь ни слова, сможешь расплатиться с кое-какими долгами и почистить кредитную историю. Разве плохо?

На этих словах Равельштейн подскочил. Выбить из издателя несколько тысяч долларов и вернуться в большую игру – перед таким соблазном он не мог устоять. Что-что, а на мелочи

³ Устно, живым голосом (*лат.*).

Эйб не разменивался. Однако он не верил, что из моих утопических идей выйдет какой-нибудь толк.

Предложение для издательства было написано и отправлено, контракт заключен, деньги выплачены. Бесценный йенсенский чайник канул в Лету, зато Равельштейну вновь открыли кредитную линию. Он сразу же перевел деньги Никки в Женеву, и тот купил себе новый наряд от Джанфранко Ферре. Никки был прирожденный принц и одевался соответственно – Равельштейн видел в нем блестящего юношу, который имел полное право на роскошь. То был вопрос не столько стиля или самовыражения, сколько – внутренней природы.

Как ни странно, Равельштейн всерьез взялся за обещанную книгу. Удивлению его друзей и трех-четырех поколений студентов не было предела. Многие не одобряли этого шага: им казалось, Эйб занялся популяризацией – и, стало быть, умалением – своих идей. Но преподавание, даже когда преподаешь Платона, Лукреция, Макиавелли или Бэкона, – и есть в некотором роде популяризация. Продукт этих великих умов печатается веками и доступен широкому населению, не способному разглядеть их эзотерическую значимость. Ибо все великие тексты обладают эзотерической значимостью, считал Равельштейн (и учил так других). Как мне кажется, об этом стоит упомянуть – но только упомянуть, не более. Примитивнейшее из человеческих существ, раз уж на то пошло, эзотерично и радикально загадочно.

Еще одна странная подробность, запомнившаяся мне с того вечера в «Лука-Картоне». Ужин закончился вином. Мы достигли устья пиршества и вновь очутились перед проливом Золотого тельца. Равельштейн выудил из кармана свою французскую чековую книжку. Прежде у него никогда не было счета во французском банке; долгие годы он довольствовался ролью туриста, рядового почитателя французской цивилизации, мечтавшего о сладкой жизни, но совершенно нищего. На нашем берегу Атлантического океана есть хорошая параллель этому явлению: еврей в Америке – не вполне американец. Представьте, каково это: полезть в карман за щедрыми чаевыми и обнаружить там лишь несколько забившихся в шов соринки. Сегодняшний чек Равельштейн выписывал дрожащей от экстаза рукой. И вот официант вместе со счетом принес нам блюдо шоколадных трюфелей, а Розамунда, открыв сумочку, принялась заворачивать в салфетки эти островерхие конфеты, припудренные какао-порошком.

– Бери! Забирай все! – воскликнул Равельштейн голосом еврея-комика. – Считай, это съедобные сувениры. Будешь есть их и вспоминать сегодняшний пир. Можно сделать запись в дневнике и потом восторгаться своей смелостью и бесцеремонностью.

Равельштейн ценил людей, которые умели пренебрегать приличиями. Потом он не раз говорил Розамунде: «Меня не проведешь: все это жеманство, благовоспитанность и кружевные салфеточки – напускное. Я помню, как лихо ты смела конфеты в “Лука-Картоне”». Он обожал мелкие преступления и шалости. Однако за подобными его симпатиями всегда стояли идеи. В данном случае идея заключалась в том, что безупречное поведение – очень плохой знак. Больше того, Равельштейн сам был не равнодушен к сладостям – friandise, как он называл их по-французски. По дороге домой он частенько забегал в продуктовый и покупал себе пакетик конфет, предпочтительно мармеладных полумесяцев со вкусом лайма.

Что делало поступок Розамунды, польстившейся на бесплатные трюфели, особенно привлекательным в глазах Равельштейна, так это ее воспитанность, манеры, красота и ум. Ему вообще очень нравилось, что она полюбила такого старика, как я. «Есть женщины, которым только стариков и подавай». Я уже не раз говорил, что Равельштейн питал слабость к безнравственному поведению. Особенно если мотивом выступала любовь. Вожделение он вообще ценил очень высоко. Поиски любви, сама любовь – это поиск потерянной второй половины, как говорил Аристофан. Только на самом деле это сказал Платон – приписав высказывание Аристофану. В начале мужчины и женщины были одним целым, имели округлое тело, как солнце и луна, и сочетали в себе оба пола, мужской и женский. Срамных

частей у них тоже было по две, иногда обе – мужские. Так гласит миф. То были гордые, самодостаточные существа, они посягнули даже на власть Олимпийских богов, за что те разделили их надвое – иначе говоря, изуродовали. С тех пор, из поколения в поколение, мы ищем свою вторую половину, мечтая вновь стать одним целым.

Я не знаток философии. В свое время, как и большинство моих однокурсников, я прочел «Пир» Платона – первоклассное развлечение, думал я тогда. А потом меня не раз возвращал к нему Равельштейн. Любой, кто подолгу находился в его компании, вынужден был вновь и вновь возвращаться к «Пиру». Быть человеком – значит, быть калекой, уродом. Человек неполноценен. Зевс – тиран. Власть Олимпийских богов – автократия. Задача калеки-человека – искать свою вторую половину, причем найти ее под силу далеко не каждому. Посредством Эроса Зевс решил возместить людям ущерб – вполне возможно, что он руководствовался при этом какими-то политическими соображениями. Наши постоянные поиски обречены на провал; сексуальные утехы дарят временный отдых и позволяют забыться, однако осознание собственной увечности преследует человека до самой смерти.

Наш ужин закончился уже за полночь. Через дорогу мы увидели великолепную витрину с орхидеями. Привлеченные светом и красками, мы пересекли пустую улицу. В толстом стекле витрины имелась узкая щель – края окаймлены латунью, – сквозь которую ароматы цветов выплескивались на загазованную площадь Мадлен. Еще один пример французского искушения. У ворот великой церкви, где проходили все государственные похороны, раньше собирались проститутки. Об этом мне тоже напомнил Равельштейн.

Итак, вот вам то главное, что составляло сущность Равельштейна. Если вы не знали о нем этого, считайте, вы не знали ничего. Душа без желания, без любовного влечения – не более чем использованная внутренняя трубка, годная лишь на то, чтобы разок кутнуть на пляже. Одухотворенные мужчины и женщины, особенно молодые, должны быть увлечены поиском любви. Мещане же, напротив, всю жизнь пребывают в страхе смерти. Так, очень коротко, можно обрисовать основные убеждения Равельштейна.

Я чувствую, что несправедливо обхожусь с другом, говоря о нем так просто. Он был очень сложный человек. Действительно ли он верил, как Платон, что всю жизнь мы ищем часть себя? Ничто не понимало его глубже и сильнее, чем яркий пример настоящей любви – то есть успеха в поисках недостающей половины. Более того, он сам непрестанно пытался разглядеть в окружающих следы этих поисков и намеки на душевное родство – и в учениках тоже, разумеется. Странно, правда? Профессор видит в своих студентах актеров душераздирающей вечной драмы. Когда к нему приходили новые ученики, первым делом он приказывал им забыть о своих семьях. Отцы были мелкими лавочниками в Крофордсвилле, штат Индиана, или в Понтиаке, штат Иллинойс. А сыновья долго и упорно размышляли над «Историей» Фукидида, «Пиром» или «Федром», при этом им отнюдь не казалось странным, что о Никие и Алкивиаде они знают больше, чем о расписании пригородных поездов или местных десятицентовых магазинчиков. Вскоре они начинали поверять Равельштейну свои тайны. Вообще ничего не скрывали. Я просто диву давался, как быстро он узнавал об учениках всю подноготную. Отчасти именно страсть к сплетням позволяла ему добывать желаемую информацию. Равельштейн не только учил студентов, он формировал их личности, по своему усмотрению разбивал их на группы, подгруппы и сексуальные категории. Кому-то предстояло стать семьянинами, кто-то имел гомосексуальные наклонности; нормальные, ненормальные, интеллектуалы, затейники, игроки, моты; прирожденные ученые с внутренней тягой к философии; ловеласы, работяги, бюрократы, нарциссы. Он посвящал немало времени обдумыванию этих вопросов. Свою семью Равельштейн ненавидел и давно от нее отрекся. Студентам он говорил так: вы пришли в университет, чтобы узнать что-то новое, чему-то научиться, а для этого надо в первую очередь выбросить из головы воззрения родителей. Он обещал повести их в новую жизнь, насыщенную и многообразную, во главе

которой стоит рациональное мышление – не путать с косным и скучным. Если им повезет, если они будут алкать знаний, Равельштейн преподнесет им величайший дар: расскажет о Платоне, познакомит с эзотерическими тайнами Маймонида, научит правильно толковать Макиавелли – и так вплоть до Ницше, но не ограничиваясь им. Он не собирался строго придерживаться программы, скорее, отправлял учеников в свободное плавание. И в целом его методы были эффективны. Ни один студент Равельштейна не мог сравниться с ним широтой кругозора, но большинство были очень умны и приятно выделялись из толпы. Этого он и добивался. Больше всего он любил чудаков – молодых людей «с прибабахом». Но, разумеется, они должны были знать основы – причем знать их чертовски хорошо. «Ну, разве не чокнутый? – как-то раз спросил он меня об очередном своем ученике. – Ты ведь получил его последнюю статью – “Историцизм и философия”? Я просил его забросить копию в твой ящик». Статью я просматривал. Честно говоря, у меня глаза на лоб полезли – я почувствовал себя муравьем, решившим покорить Анды.

Равельштейн призывал учеников забыть родителей. Однако в кружке, который формировался вокруг него, он постепенно приобретал роль отца. Правда, весьма беспощадного – нерадивых детей он сразу вышвыривал на улицу. Но за любимцев он готов был продумать наперед всю жизнь. Вот, к примеру, наш обычный разговор:

– Али весьма умен. Но одобряешь ли ты эту его ирландку?

– Я ее толком не знаю. Вроде девочка умная.

– Умная – это еще не все. Чтобы учиться у меня, она отказалась от карьеры адвоката. И сиськи у нее роскошные. Они с Али прожили вместе пять лет.

– Стало быть, она немало в него вложила.

– Понимаю. Хотя мне не нравится твой утилитарный подход. Как будто Али – ее собственность. И не забывай, он ведь мусульманин. За ним целая египетская пирамида родни. – Равельштейн гадал, свойственно ли мусульманам влюбляться. Страстная любовь всегда была для него превыше всего, но на Востоке по-прежнему нередко заключались договорные браки. – С другой стороны, никакие пирамиды в подметки не годятся Эдне. – Об Эдне он тоже, судя по всему, много думал. Его вообще занимали сердечные дела студентов. – Она, безусловно, очень умна – и на редкость красива.

Как я уже говорил, в тот день мы хотели обсудить мемуары, которые я вознамерился писать. Однако Эйб был не в настроении вспоминать биографические подробности.

– Если подумать, – сказал он, – я вообще не хочу вспоминать юность. Моя образованная мать окончила университет Джонса Хопкинса, была лучшей в группе. А тупоумный отец до самой смерти попрекал меня тем, что я так и не попал в братство «Фи Бета Каппа». По самым важным предметам у меня всегда было «отлично», по остальным я довольствовался четверками и тройками. Но мои достижения отца не волновали. Когда меня уже приглашали читать лекции в Йельском университете и Гарварде, он продолжал скорбеть по ФБК. Его разум был подобен болоту Окефеноки – жуткая трясина с блуждающими огнями неврастения. Конечно, он был неудачник, пусть и с внутренним достоинством – столь глубоко погребенным, что найти его никто не мог.

Равельштейн внезапно умолк и сказал:

– Пройтись бы по рю Сент-Оноре этим прекрасным утром...

– Скорее, уже днем.

– Розамунда еще будет спать. Вчерашний ужин ее вымотал. Красивая леди в компании трех завидных мужчин... Шутка ли дело! До часу дня ты ей не нужен, поверь мне. А я хотел узнать твое мнение об одном пиджаке в «Ланвене». Обещал продавцу сегодня заскочить. Что-то я носом клюю, терпеть не могу это состояние...

Мы покинули его пентхаус. Момент был как нельзя более подходящий: Майкл Джексон и его свита как раз садились в лифт. На нем был черный обтягивающий костюм в золо-

тых блестках. Голова в свежесвитых кудрях, на лице – целомудренная улыбка. Я поймал себя на том, что невольно ищу в его облике следы пластических операций. Мне показалось, что его окружает аура бренности – все, и золотые мальчики, и трубочисты рано или поздно обращаются в прах.

Равельштейн, который ростом не уступал телохранителям – а то и превосходил их, – пришел в восторг от этого короткого контакта. Он вообще был такой: умел ловить кайф момента.

Внизу телохранители уже расчищали Майклу дорогу, словно плавали брассом в толпе. Народу в вестибюле было прилично, но основные толпы собрались на улице, за полицейским кордоном. Нас же спрессовали и держали за золотыми канатами. Звезда покинула здание отеля, изящно помахивая рукой сотням орущих фанатов. Эйб ничуть не расстроился, что нас выгнали за канаты. Сегодняшний Париж был для него правильным Парижем. Короли, заложившие Версаль, руками архитекторов и рабочих отстроили великолепные публичные места столицы – и они теперь стали фоном повседневной жизни Равельштейна. При новом порядке он был вельможей, хозяином кредитных карт и чековых книжек, готовым тратить доллары – будь в Париже отель роскошнее «Крийона», он поселился бы там. Равельштейн стал хозяином жизни. Все счета оплачивались кредитной картой и относились на счет в банке «Меррилл Линч». Сам Равельштейн редко просматривал банковские выписки, этим иногда занимался Никки – по собственной воле, из желания защитить Эйба. Благодаря ему удалось вывести на чистую воду одного сингапурского мошенника, пытавшегося с помощью Равельштейновой «Визы» проверить махинации на тридцать тысяч долларов.

– Подпись он явно подделал, – рассказывал мне потом ничуть не расстроенный Эйб. – Но в «Визе» обо всем позаботились. Международные электронные аферы для них – обычное дело. Мошенники учатся обманывать высокие технологии со скоростью бактерий, которым время от времени удается перехитрить фармацевтов. Но башковитые ученые все равно находят способ укротить заразу. Скромные университетские гении обводят вокруг пальца Пентагон.

На Рю Сент-Оноре Равельштейн приободрился. Мы стали ходить от одной витрины к другой.

Французы называют такое разглядывание витрин *lèche-vitrines* – облизыванием окон. Это занятие требует большого количества свободного времени, а мы уже потратили основную часть утра на завтрак. И все же мы подолгу останавливались у витрин с носками, галстуками и сшитыми на заказ рубашками. Потом немного ускорили шаг – я сказал Эйбу, что меня напрягают эти роскошные виды. Слишком много соблазнов. Не люблю, когда меня дергают со всех сторон.

– Я заметил, что ты стал хуже одеваться с тех пор, как женился. Раньше ты любил щегольнуть.

Равельштейн произнес это с сожалением. Время от времени он покупал мне галстуки – но не те, что я выбирал сам. Этими галстуками он как бы ставил меня на место: мол, стареешь, дружище. Но дело было не только в этом. Равельштейн отличался высоким ростом и потому мог одеваться броско, эффектно, чего нельзя сказать обо мне. По-настоящему красивый мужчина должен быть высок. Трагический герой просто обязан быть ростом выше среднего. Я уже сто лет не читал Аристотеля, но кое-что из его «Поэтики» запомнил.

На рю Сент-Оноре, пропитанной великолепием французской истории и политики, я вдруг припомнил старый мюзик-холльный номер под названием «Человек, который сорвал банк в Монте-Карло». По Булонскому лесу с независимым видом разгуливает *flâneur*, празднующийся. Разумеется, он весел, жизнерадостен и любезен. И, конечно, все на него пялятся.

Ни одно событие нельзя назвать событием, пока его не оценили и не утвердили в Париже. Старый писака Бальзак создал этот принцип. Если какое-то явление не одобрено в Париже, считай, его вообще не существует.

Разумеется, Равельштейн слишком хорошо знал современный мир, чтобы в это верить. У него, если помните, был собственный телефонный командный пост с кучей замысловатых прибабасов и сверкающих огоньков, а еще – суперсовременная стереосистема для прослушивания «Палестрины» в исполнении музыкантов, играющих на аутентичных инструментах эпохи. Увы, Франция давно перестала быть сердцем просвещения и законодательницей мод. Величайшие умы мира и всякие там культуртрегеры больше не слетались в Париж. Франция безнадежно отстала от жизни. И напрасно человек-жираф де Голль презрительно фыркал. Черчилль считал, что Англия совершила проступок, когда помогла la France. Высокомерный генерал, разглядывая современный мир поверх крон деревьев, не мог допустить даже мысли, что его страна нуждается в помощи.

В чем французы до сих пор хороши, так это в искусстве интима. Еда тоже остается на высоте – взять хоть вчерашний ужин в «Лука-Картоне». В каждом quartier – отличные продуктовые рынки, пекарни, charcuterie с отменными колбасами. А какие магазины нижнего белья! Бесстыжая любовь к хорошему постельному белью. «Viens, viens dans mes bras, je te donne du chocolat»⁴. Как это чудесно – быть столь публичным в интимных вопросах. Нью-йоркские гляцевые журналы пытаются это изобразить, но получается паршиво... Ах да, и еще стоит особо отметить жизнь французских улиц. «Улицы американских жилых районов на девять десятых безлюдны, – говорил Равельштейн. – А здесь народ еще держится».

Равельштейн-греховодник имел вкус к сексуальным проделкам. Ему нравились всевозможные сомнительные и двусмысленные louches свидания. Для определенного вида поведения – аморального, – лучше Парижа места не сыскать. Когда Равельштейн шел, улыбался, разглагольствовал и вдруг начинал заикаться, это происходило не от слабости, а от переизбытка чувств. Знаменитый парижский свет сейчас был направлен прямо на его лысую макушку.

– Далеко нам еще?

– Какой ты нетерпеливый, Чик. Такое чувство, что у тебя всегда есть дела поважнее.

Я не стал оправдываться – даже не попытался. До нашего пункта назначения – магазина «Ланвен», – было недалеко, но по дороге мы задерживались то у одной витрины, то у другой. Оптометристы были высокого мнения о Равельштейне: он знал названия всех разновидностей оправ. И был в этом не один. Согласно исследованиям, средняя американка имеет три пары солнцезащитных очков. «Как знать, что нужно?» – вопрошал бедный Лир. Эйб обожал очки и часто покупал их в подарок. Однажды он подарил мне складные очки в небольшом футляре, который помещался в нагрудный карман. С контактными линзами Равельштейн распрощался, когда уронил одну в соус для спагетти; помню, за ужином мы много шутили о новом взгляде на задний ум. «А может, линзы перевариваются человеческим желудком? Переваривают же страусы сталь».

Меня так и подмывало спросить Равельштейна: чем этот пиджак «Ланвен» отличается от двадцати других? Но я отлично знал, что Эйб способен провести массу различий, имеющих отношение к таким понятиям, как щедрость и скардность, величие и убожество. К характеристикам аристотелевского человека великой души. Я не хотел, чтобы он заводился. Да и он в то утро тоже не хотел заводиться.

Не так давно, дома, на Среднем Западе, когда денег у Равельштейна было в обрез и он часто жаловался мне на скудный гардероб, я отвел его в ателье Джезуальдо, моего портного. Там он выбрал шерстяную ткань весьма смелой расцветки и производства хорошей

⁴ «Приди, приди в мои объятия, я дам тебе шоколаду» (фр.).

шотландской фабрики. После трех-четырех примерок костюм был готов – превосходный костюм, на мой взгляд. Я заплатил за него кругленькую сумму. Моя последняя на тот момент книга как раз попала в список бестселлеров. Она болталась где-то на нижних строчках, так и не поднявшись выше середины, но я был более чем доволен. Дитя Великой депрессии, я умел радоваться малому. За полторы тысячи долларов, считал я, можно пошить шикарный костюм. Даже в свои лучшие дни (одно время я был настоящий модник, правда, длилась эта фаза недолго) я не тратил на костюмы больше полутора тысяч. Примерно столько в те времена платили за деловую одежду студенты, только что получившие право на ведение адвокатской практики. Становясь партнерами в крупных юридических конторах, они забывали дорогу к Джезуальдо и находили себе портных помоднее – тех, что обшивали хирургов, профессиональных спортсменов и рэкетиров.

Мы с Равельштейном, помню, повздорили насчет этого костюма.

– Слушай, Чик, его ценность не в крое, не в портновском мастерстве...

– Вы с Никки всю потешались над ним, когда ты единственный раз его надел – дома, только чтобы сделать мне приятно.

– Не стану отрицать: он действительно не годится для носки.

– «Носка» – не то слово. Вы с Никки не надели бы его даже на манекена.

Равельштейн, только что погасив одну сигарету, сразу же принялся раскуривать следующую. Он задрал вверх свой хобот – то ли затем, чтобы уберечь его от пламени зажигалки, то ли от смеха. Наконец, обретя дар речи, он сказал:

– Ну да, это не «Ланвен», конечно. Но ты хотел сделать мне подарок. И очень щедрый подарок – Никки, между прочим, сам это заметил. Джезуальдо давно отстал от жизни. Он шьет костюмы для мафиози – причем не для донов, а для всякой мелкой рыбешки.

– Вот, значит, как я одеваюсь.

– Тебя просто не интересует мода, бренды, вся эта мишура. Зря ты не отдал мне те деньги на руки – я бы подсобрал еще немного и сшил себе приличный костюм.

Мы были совершенно откровенны друг с другом – говорили без обиняков. Для нас не было ничего слишком личного, слишком постыдного, отвратительного или криминального, о чем мы не могли бы поговорить. Впрочем, иногда он старался не судить меня слишком строго – когда видел, что я еще не готов правильно воспринять подобные суждения. Но мне грело душу знание, что при необходимости я могу говорить с ним так же прямо, как с самим собой. В понимании самого себя он продвинулся куда дальше моего. Однако любая откровенная беседа между нами в конце концов перерастала в чистую нигилистскую потеху и добродушное веселье.

Но вернемся в весенний Париж.

Роскошный пиджак в «Ланвене» был из шерстяной фланели, шелковистой и при этом солидной. Цвет у меня ассоциировался с лабрадорами-ретриверами: золотистый, с богатой игрой света на складках.

– Такие пиджаки видишь исключительно на страницах «Вэнити фэйр» и прочего модного глянца. Обычно в них наряжают небритых верзил, смахивающих либо на гомосексов-садистов, либо на насильников, которым совершенно нечем заняться, кроме как красоваться перед камерой во всем великолепии своего грязного нарциссизма.

Невозможно представить такой предмет одежды на неказистом мужчине интеллигентного вида с брюшком или обвисшими жировыми складками на боках. На самом деле зрелище это даже приятное.

Я посоветовал Равельштейну купить пиджак.

Стоил он четыре с половиной тысячи долларов, и Эйб расплатился за него «Визой голд», поскольку не был уверен в балансе своего счета в «Лионском кредите». С «Визой»

можно не бояться, что тебя обдерут, как липку: она гарантирует клиенту человеческий обменный курс на день совершения транзакции.

Снаружи Равельштейн спросил, как его новый пиджак выглядит при дневном свете. Я ответил, что шикарно.

Следующую остановку мы сделали в магазине «Сулка», где Равельштейн просмотрел сшитые по его заказу рубашки и попросил доставить их в «Крийон» – каждая была упакована в прочную пластиковую коробку. Затем мы отправились в «Лалик». Там он хотел выбрать новые бра и люстры для своей американской квартиры.

– Надо приберечь полчаса для захода к шляпнику Жело.

У Жело я сломался и приобрел себе зеленую вельветовую шляпу. Эйб сказал, что я просто обязан ее купить.

– Мне нравится, как она на тебе сидит. Смелый штрих. Тебе давно пора осмелеть. Черт, ты слишком скромно выглядишь, Чик! Это тебе не к лицу, потому что любой, кто заглянет в твои глаза, увидит высокомерного мегаломана. Если жалко денег, давай запишем покупку на мой счет...

– У моих родителей дома стояли зеленые диваны. Подержанные, зато обитые настоящим бархатом. Я сам расплачусь за шляпу... Как-никак, покупаю ее из сентиментальных соображений.

– Для июня она тепловата.

– Я надеюсь дожить до октября.

Мы шли по улице Риволи. На Равельштейне был его новый пиджак, слева раскинулся великий Лувр и парки. В аркадах толпились туристы.

– Пале-Рояль. – Равельштейн махнул в сторону дворца и парка. – Здесь каждый день прогуливался Дидро – и вел свои знаменитые диалоги с племянником Рамо.

Однако Равельштейна нельзя сравнивать с племянником великого композитора – музыкантом и тунеядцем. Он был выше даже самого Дидро – личность куда более крупная и влиятельная, с глубокими познаниями в истории, особенно в истории моральной и политической теории. Меня всегда тянуло к людям с упорядоченным восприятием мира. Речи Равельштейна только казались бессвязными и непоследовательными – из-за заикания. Один наш общий приятель из Штатов любил говорить: «Порядок сам по себе харизматичен».

Об одном таком весьма харизматичном человеке, которого зовут – или звали – Рахмиэль Когон, мы с Равельштейном и разговорились. Он был точной копией актера Эдмунда Гвенна, сыгравшего Санта-Клауса в «Чуде на 34-й улице». Только Рахмиэль был отнюдь не благодушный Санта, а грозный толстяк с багровой оскаленной мордой и хорошо развитыми мимическими мышцами, отвечающими за выражение гнева. Если б он и спускался по дымоходу, как Рождественский дед, то его приход сулил бы одни неприятности.

Обедать мы не захотели – вчерашний пир из десяти блюд в «Лука-Картоне» отбил нам аппетит до самого ужина, – однако решили выпить кофе. Равельштейн открыл уже вторую пачку «Мальборо» за день, и в «Кафе де Флор», куда регулярно наведывался, заказал «un espresso très serré», хотя там ему и так всегда заваривали очень крепкий кофе. Если его пальцы и тряслись, когда он брал крохотную чашку, то происходило это отнюдь не от нервов. Его распирали чувства. И кофеин по сравнению с обуревавшим его возбуждением был сущей ерундой.

– Рахмиэль когда-то был моим учителем, – сказал Эйб. – Потом преподавал в Лондонской школе экономики, а затем и в Оксфорде, где окончательно превратился в англичанина. Сколько его помню, он всегда разрывался между Штатами и Англией. Очень серьезный человек, не в ладах с самим собой. Но я ему многим обязан – своим нынешним положением в частности. Меня сослали в Миннесоту, а он помог мне встретиться с нужными людьми и в итоге добиться своего.

– *Почти.*

– Да, верно. Я единственный, у кого есть звание, но до сих пор нет именной кафедры. Впрочем, теперь меня скорее посадят на электрический стул, нежели за именную кафедру.

Поймите правильно, Равельштейн никогда не принимал всю эту университетскую грызню близко к сердцу. Однако сейчас не лучшее время о ней рассказывать, может, я вернусь к этой теме позже. Не зря же я писал, что хочу составить рваный и дробный портрет Равельштейна.

За ним всегда было любопытно наблюдать за столом, но к этому зрелищу еще надо было привыкнуть. Миссис Глиф, жена основателя его факультета, однажды заявила, что больше никогда не пригласит его на ужин. То была очень богатая леди, хорошо разбиравшаяся в литературе и искусстве; время от времени она принимала у себя всевозможных звезд. За ее столом побывали Р. Г. Тоуни, Бертран Рассел, какой-то известный французский ученый-фомист, чье имя мне никак не вспомнить (Маритен?) и куча всяких интеллектуалов, по большей части – французы. Эйба Равельштейна, тогда еще рядового преподавателя, пригласили на ужин в честь Т. С. Элиота. Когда Эйб уходил, Марла Глиф сказала ему: «Вы пили колу из бутылки – прямо на глазах потрясенного Элиота!»

Равельштейн любил рассказывать эту байку. И про старую миссис Глиф тоже любил посплетничать. Она родилась в невероятно богатой семье, ее муж был выдающийся востоковед.

– Такие люди нередко выставляют себя в привлекательном свете и постепенно, год за годом сплетают о себе потрясающие небылицы, – говорил Равельштейн. – Они превращаются в эдаких дивных стрекоз, что парят в атмосфере райского, безупречно оторванного от жизни мира. Потом они начинают писать друг о друге очерки, поэмы, целые книги...

– А ты взял и повел себя как последняя еврейская скотина – да еще за ужином с супер-важным гостем.

– Что теперь подумает о нас Т.С.!

Впрочем, у меня есть основания полагать, что Равельштейн провинился не только распитием колы прямо из бутылки. (Да и что делала бутылка колы на столе у миссис Глиф?!) Университетские жены знали, что визит Равельштейна чреват долгой уборкой: он то и дело что-нибудь расплескивал, рассыпал, ужасно пачкал салфетки, крошил на пол, ронял куски мяса, разливал вино; пробовал блюдо – и, если оно ему не нравилось, резко отставлял тарелку, которая неизбежно падала со стола. Опытная хозяйка заблаговременно постелила бы под стул Эйба газеты. Причем он не сказал бы ни слова против. Он вообще не обращал внимания на такие вещи. Конечно, любой человек осознает, что происходит вокруг него. Эйб *знал* – он знал, чему стоит уделять внимание, а что отметить. Так что я не стану брюзжать по поводу его манер за столом – не хочу расписываться в собственном чистоплюйстве.

Равельштейн со смехом произнес:

– Чтобы какой-то жид *так* вел себя за ее столом!

Профессор Глиф, муж, не страдал подобными предрассудками. Высокий и серьезный человек, он держался чинно, однако его мысленный взор словно был сосредоточен на чем-то другом, далеком и увлекательном – в смысле, более увлекательном, чем Равельштейн. Его маленькие, широко расставленные глазки смотрели по-доброму; разделенные на пробор гладкие волосы могли принадлежать только видному ученому и больше никому. Дружил он в основном с французами, причем известными, носившими фамилии вроде «Бурбон-Сикст» – либо уже членами Академии, либо теми, кто входил в шорт-лист для номинации. Глифа холила его жена и ее прислуга: прачка, кухарка и горничная. То была отнюдь не заурядная ученая семья: и в Лондоне, и в Париже они чувствовали себя как дома. В Сан-Тропе – или в каком-то подобном месте – они жили по соседству с Фицджеральдами. Глифы не просто хвастались знакомствами с великими: они действительно знали Пикассо и Гертруду Штайн.

Почему-то мы с Равельштейном разговорились о них в «Кафе де Флор». В самые погожие деньки я нередко страдаю утренними приступами меланхолии, и чем лучше погода, тем мне хуже. Блики солнца на окружающих предметах – блеск и великолепие жизни, так сказать, – нагоняют на меня тоску. Равельштейну я никогда об этом не говорил, но, думаю, он что-то такое чувствовал.

– Глиф обожал «Пон-Рояль», это была его любимая гостиница. Когда миссис Глиф умерла, он приехал в Париж ее оплакивать. Привез с собой все ее бумаги. Хотел посмертно напечатать сборник статей – и вызвал на подмогу Рахмиэля Когона. Тот был в Оксфорде.

– С какой стати Рахмиэль приехал?

– Он был многим обязан старику. Глиф однажды спас Рахмиэля от позорного изгнания из университета. Он защитил его, спрятал под свое крыло. Это произошло еще до того, как Рахмиэль стал «влиятельной фигурой», как любят говорить всякие ученые придурки. Словом, он приехал в Париж и тоже поселился в «Пон-Рояле», хотя и в номере попроще. Каждое утро он приходил к Глифу работать над статьями Марлы Глиф. И каждое утро старик ему говорил: «Я простудился, Марла не позволила бы мне работать в таком состоянии». Или: «Мне надо постричься. Марле бы не понравилось, что я так оброс». Или уходил на встречи с Рошфуко и Бурбон-Сикстом, пока Рахмиэль приводил в порядок ее заметки и читал ее безумные статьи. Но его то и дело тянуло к личному дневнику миссис Глиф, где нередко мелькало его имя: «Опять этот жуткий еврейчик, Р. Когон... Придется снова терпеть этого отвратительного протеже Герберта, Р. Когона, который с каждым днем становится все еврейстей, невыносимей и ужасней – одна его бесстыдная рожа чего стоит...»

– Когон сам тебе это говорил?

– Конечно. Его это веселило. Он считал ее подлинной мадам Вердюрен, неутомимой карьеристкой. Таких людей хлебом не корми, дай в чем-нибудь ущемить евреев.

– Но ни один нормальный человек не принимал миссис Глиф всерьез, – сказал я.

– А вы были знакомы, Чик?

– Нет, к тому времени она уже умерла. Глиф, славный человек, необыкновенно щедрый, говорил про нее «моя покойная жена», а потом добавлял – для смеху, – что она никогда не знала покоя. Со второй супругой ему больше повезло, она просто прелесть. Сильная, великодушная, умная. Однажды он пригласил меня на ужин и чинно, на французский манер, осведомился, не возражаю ли я против «gens de couleur»⁵. Гостьей была роскошная дама с Мартиники, жена какого-то известного историка искусств. Не того ли самого Ревалда, который написал книгу о Сезанне?

– Тебе всегда везет. Только ты редко пользуешься своей удачей, – заметил Равельштейн.

Я привык к подобным замечаниям. Равельштейн считал меня талантливым и умным человеком, но необразованным, наивным и вялым – направленным внутрь себя. Он считал, что в правильной компании я могу одухотворенно вести беседу, а своим студентам сообщал про меня, что нет на свете важной темы, о которой я бы не задумывался. Да, но что я сделал с этими важными темами?

Послушав моего совета, Равельштейн разбогател. И Розамунда после вчерашнего ужина сказала мне: «Он хотел устроить для тебя настоящий праздник, вложил в этот пир всю свою признательность и любовь. Еда, вино и разговоры в афинском стиле».

Она была одной из ученых фанаток Равельштейна и хорошо знала греческий. Чтобы учиться у Эйба, студент должен был читать Ксенофона, Фукидида и Платона в оригинале.

И хотя я посмеялся над ее словами об учителе, внутренне я был с ней согласен. В отличие от многих наблюдательных людей Розамунда умела еще и ясно мыслить – это был

⁵ Цветные люди, темнокожие (*фр.*).

настоящий талант. Она очень любила Равельштейна и была одной из самых больших его поклонниц.

Официант принес Эйбу третью чашку накрепчайшего эспresso. Он схватил ее своей неуклюжей рукой и стремительно понес ко рту. Если бы мне предложили сделать ставку на результат этого действия, я бы поставил большие деньги. На лацкане его нового пиджака появились жирные коричневые пятна. Это было неизбежно – рок, если хотите. Равельштейн все еще пил кофе, сильно запрокинув голову. Я молчал, отвернувшись от огромного пятна на пиджаке «Ланвен». Другой человек на его месте сразу заметил бы неладное – тот, кто относился к деньгам серьезней и понимал бы, как следует носить вещи за четыре с половиной тысячи долларов. На равельштейновских галстуках от «Эрме» и «Эрменегильдо Зенья» красовались сигаретные прожоги. Я как-то пытался заинтересовать его галстуками-бабочками. Сказал, что они будут под защитой его подбородка. Он оценил это преимущество, но уже готовые, завязанные покупать не хотел, а сам завязывать *rapillon* не умел и считал, что для этого у него слишком неловкие пальцы.

– Ну вот, – сказал он, когда наконец увидел пятно на лацкане. – Опять я обосрался.

Его слова не вызвали у меня улыбки.

Надо было что-то делать. Да, облиться кофе – это очень смешно и в духе Равельштейна. Он сам это только что сказал. Но мне происшествие вовсе не показалось забавным. Я сухо-вато заметил, что пятна надо удалить.

– В прачечной «Крийона», скорей всего, смогут это сделать.

– Думаешь?

– Если уж они не смогут, то никто не сможет.

Только человек сведущий, своего рода специалист, мог проследить за движениями его разума. Что-то люди делают потому, что их научили так поступать, а что-то – поскольку имеют к этому глубокую внутреннюю расположенность. Некоторые мыслители считали, что все люди – изначально враги, они боятся и ненавидят друг друга. В мире неустанно ведется война всех против всех, она заложена в нашей природе. Сартр в одной из своих пьес говорит, что ад – это «другие» (Эйб, кстати, презирал Сартра и его идеи). Философия – не мой конек. Да, в университете я изучал Макиавелли и Гоббса – и, наверное, смог бы достойно выступить в какой-нибудь телевикторине. Однако я быстро учусь и очень многому научился у Равельштейна, поскольку был ему предан. Я им «дорожил», как научил меня говорить один приятель.

Очевидно, сказав Эйбу про прачечную «Крийона», я хотел его утешить – все-таки человек только что пролил крепкий кофе на новенький пиджак. Однако Эйб не нуждался в утешениях. Мне следовало посмеяться над его неуклюжими, порывистыми движениями, над его грубыми повадками и дрожащими руками. Ему нравились старые комедии, водевильные номера, обидные шутки, грубый примитивный юмор. Поэтому он не ценил мои слабые либеральные замашки – «а вот мы сейчас все быстренько исправим», – мою глупую доброту.

Эйбу вообще не было дела до доброты. Если какой-нибудь студент его разочаровывал, он так ему и говорил: «Я ошибся на твой счет. Здесь тебе не место. Я больше не хочу тебя видеть». Чувства отверженных его не волновали. «Пусть лучше меня ненавидят, – говорил он. – Ненависть затачивает ум. В мире и так слишком много всякой психотерапевтической хрени».

Он считал, что мною кто только не пользуется.

– Прочитай любую хорошую книгу об Эйбе Линкольне, – посоветовал он мне. – Узнаешь, как во время Гражданской войны люди донимали его со всякой ерундой: работой, военными контрактами, франшизами, консульскими встречами, безумными военными идеями. Как президент страны, он считал, что обязан разговаривать с этими паразитами, калеками и дельцами. При этом он по шею стоял в реке крови. Военные меры сделали его тираном –

ему пришлось приостановить действие права «хабеас корпус». Все в угоду... э-э... высшей цели: не пустить Мэрилэнд в Конфедерацию.

Безусловно, мои нужды отличались от нужд Равельштейна. В моем деле волей-неволей приходится делать скидки и поблажки, говорить двусмысленно – избегать резких суждений. Такое постоянное обуздание порывов может со стороны походить на наивность. Но это не совсем так. В искусстве приходится усваивать регламент. Нельзя просто отмахиваться от людей и посылать их к черту.

С другой стороны, считал Равельштейн, я всегда охотно иду на риски – чересчур охотно. «Чудовищные риски», так он говорил. «В общем и целом сложно найти человека менее благоразумного, чем ты, Чик. Когда я думаю о твоей жизни, то невольно начинаю верить в фатум. Он тебя преследует. Ты получаешь по башке всякий раз, когда ее высовываешь. А может, и не только по башке. Суть в том, что у тебя серьезные неполадки с системой наведения».

Однако именно эта моя безрассудность и нравилась Равельштейну.

«Ты ни за что не поступишь благоразумно, имея рискованную альтернативу. Таких людей раньше называли нерадивыми, когда подобные слова еще были в ходу. Да, да, извини, всех уже тошнит от этих разговоров о психологических профилях и дефектах личности. Может, потому насилие стало так популярно: психиатры dokonали нас своими откровениями. Нам теперь нравится смотреть, как людей напиговывают пулями, взрывают в машинах, обезглавливают или набивают ватой. Мы настолько устали думать о чужих проблемах, что бутафорского уничтожения в духе “Гран-Гиньоля” уже мало: этих сволочей надо убивать по-настоящему».

Равельштейн любил воздевать над лысиной длинные руки и испускать громкий театральный вопль.

Боюсь, как бы это мое воспоминание не натолкнуло читателя на мысль, что Равельштейн был мизантропом. Вот кем угодно – только не мизантропом и не циником. Второго такого великодушного и щедрого человека сложно найти; для своих студентов он становился неисчерпаемым источником энергии. Многие приходили к нему с твердой демократической верой в то, что он чем-то им обязан, что его идеи предназначены для всех. Разумеется, он не позволял бездельникам и праздным зевакам себя эксплуатировать. «Я вам не труба в Саратога-спрингс, к которой евреи Бронкса приходили с чашками за бесплатной живой водой – верным средством от запора или атеросклероза. Я не товар широкого потребления, не дармовщина! Между прочим, водичка в том чудесном источнике оказалась канцерогенной. Очень вредной для печени. И губительной для поджелудочной». На этих словах Равельштейн смеялся – без особой радости.

Если бы те страждущие не ездили пить живую воду в Саратогу, они бы все равно нашли чем отравиться – во Флэтбуше или Браунсвилле. Как можно свести воедино, затабулировать все бесконечные сведения о вреде табака, консервантов, асбеста, веществ, которыми поливают овощи и фрукты, E.coli от сырой курицы на невымытых руках сотрудников пищевой промышленности?... «Нет дурной привычки буржуазнее, чем страх смерти», – говорил Равельштейн. Подобные мини-отповеди он читал, строя из себя чокнутого. Напоминал мне в такие моменты клоунов из 20-х, что изображали тряпичных кукол: потрясали длинными разболтанными ручищами и лыбились публике огромными, нарисованными на выбеленных лицах ртами. Конечно, это была чистой воды клоунада. Только близкие друзья видели его с этой стороны. Когда нужно, Равельштейн вел себя вполне корректно – не потому, что хотел потрафить занудам из академических кругов, а потому, что некоторые вопросы заслуживали серьезного отношения. Мировоззренческие вопросы. Обсуждая их, он становился спокоен и серьезен, как все умнейшие, величайшие учителя. Равельштейн был энергичен и суров.

Но даже читая лекцию о диалоге Платона, он время от времени выкидывал какие-нибудь фокусы.

Иногда он говорил: «Да, я строю из себя *pitre* – шута горохового. Паяца. Валяю дурака».

Мы оба некоторое время прожили во Франции. Французы в целом довольно образованы – по крайней мере, раньше были. В этом веке им туго пришлось. Но у них по-прежнему превосходный нюх на красивые вещи, праздную жизнь и литературу; они не презирают свои низменные нужды. Я часто произношу эту оправдательную речь о французах.

На любой улице вам продадут багет, кальсоны *taille grand patron*⁶, пиво, бренди, кофе или *charcuterie*⁷. Равельштейн был атеистом, но и атеисту ничто не мешает восхищаться часовней Сент-Шапель или читать Паскаля. Цивилизованный человек получает удовольствие от парижской атмосферы. Мне же всегда казалось, что французы меня либо презирают, либо пытаются обмешулить. Я отнюдь не считал Виши исключительно продуктом нацистской оккупации. У меня были свои идеи относительно коллаборационизма и фашизма.

«Не знаю, может, дело в еврейской нервозности или в твоём протиестественном желании всюду встречать радушный прием, – говорил Равельштейн. – А может, французы тебе кажутся неблагодарными. Но любому ведь ясно, что в Париже лучше, чем в Детройте, Ньюарке или Хэтфорде».

Впрочем, принципиальным это мелкое расхождение в наших взглядах назвать нельзя. В Париже у Эйба было множество прекрасных друзей. Его хорошо принимали в *écoles* и *instituts*, где он читал лекции на французские темы – изъясняясь на своем собственном диалекте французского. Сам он много лет назад учился в Париже у известного неогегельянца Александра Кожева, взрастившего целое поколение влиятельных мыслителей и писателей. Многие из них стали друзьями, поклонниками и читателями Эйба. В Штатах же он был противоречивой фигурой и нажил себе массу врагов, особенно среди социологов и философов.

Но мои познания об этом весьма скудны – все-таки я не специалист. Мы с Эйбом Равельштейном были близкими друзьями, жили на одной улице и почти ежедневно общались. Он часто приглашал меня на свои семинары – обсуждать литературу с его студентами. В былые времена наша страна еще могла похвастаться весьма широким кругом читающих людей, а медицина и право считались «учеными профессиями». В современной Америке ждать от врачей, адвокатов, бизнесменов, журналистов, политиков, телезнаменитостей, архитекторов и коммерсантов того, что они будут в состоянии обсуждать романы Стендаля или стихи Томаса Гарди, не приходится. Иногда можно встретить любителя Пруста или какого-нибудь сумасброда, выучившего наизусть «Поминки по Финнегану». Кстати, когда меня спрашивают про «Финнегана», я обычно отвечаю, что берегу его для пенсии. Предпочитаю встретить вечность в компании Анны Ливии Плюрабель, чем под болтовню Симпсонов.

Не знаю, какими словами лучше описать просторную красивую квартиру Равельштейна – его американский дом. Святилищем ее не назовешь: Эйб никогда не был затворником. Он очень хорошо устроился в Америке. Из его окон открывался прекрасный вид. В последние годы он мало пользовался общественным транспортом, но хорошо ориентировался в городе, говорил на его языке. Молодые негры останавливали его на улице и спрашивали, где он взял такой костюм, пальто или шляпу. Они разбирались в высокой моде, обсуждали с ним Ферре, «Ланвен», его портного с Джермин-стрит.

– Эта молодежь обожает все модное. Пижонские костюмы с пиджаками до колен и мешковатыми брюками ушли в прошлое. На автомобилях у них тоже губа не дура.

– И на часы за двадцать тысяч долларов. А на оружие?

⁶ Большой размер (*фр.*).

⁷ Колбасные изделия (*фр.*).

Равельштейн смеялся.

– Даже чернокожие девчонки останавливают меня на улице, чтобы похвалить костюм. У них врожденный вкус, на уровне подкорки.

Он всегда испытывал теплые чувства к этим знатокам – ценителям красоты.

Восхищенные взгляды чернокожих подростков помогали Равельштейну нейтрализовать ненависть своих коллег-профессоров. Бешеный успех его книги сводил ученых с ума. В ней Эйб указывал на фундаментальные изъяны системы, давшей им образование, ограниченность их историцизма, склонность к европейскому нигилизму. Равельштейн считал, что в Штатах можно получить блестящее техническое образование, а вот гуманитарное терпит полный крах. Мы попали в плен высоких технологий, преобразивших современный мир. Старшее поколение копит деньги, чтобы выучить детей. Получить степень бакалавра искусств стоит теперь сто пятьдесят тысяч долларов – большие деньги. С тем же успехом можно смыть их в унитаз, полагал Равельштейн. Достойного образования в Штатах не дают – если только вы не собираетесь учиться на авиационного инженера, компьютерщика и т. д. Биология и естественные науки преподаются на высшем уровне, а гуманитарные – хуже некуда. Философ Сидни Хук однажды сказал Эйбу, что философия умерла. «Наши выпускники работают в больницах – специалистами по врачебной этике», – признался он.

Книга Равельштейна вовсе не была эпатажной. Будь он очередным скандалистом, на него просто махнули бы рукой. Но нет, он писал разумно и аргументированно. Все тупоголовые страны объединились против него (как много лет назад выразился Свифт... или Поуп?). Хорошо, что профессура – не ФБР, не то они бы записали Равельштейна в особо опасные преступники и расклеили бы плакаты с его физиономией в общественных местах.

Он посмел обратиться не к профессорам и ученым сообществам, но напрямую к широкой публике. На свете миллионы людей, ждущих некого знака свыше. Многие из них – выпускники университетов.

Когда на Равельштейна нападали взбешенные коллеги, он говорил, что чувствует себя американским генералом, осажденным нацистами (где это было? В боях за Ремагенский мост?). Когда от него потребовали капитуляции, он проорал: «Хрен вам!» Конечно, Равельштейн расстраивался – а как же? И никакой помощи со стороны ждать не приходилось. Он мог положиться только на друзей – и, разумеется, на его стороне были несколько поколений выпускников, а заодно истина и справедливость. Книгу хорошо приняли в Европе. Англичане смотрели на него свысока. Университетские деятели находили ошибки в его греческом. Но когда Маргарет Тэтчер пригласила его в «Чеккерс», свой загородный дом, он был «aux anges», на седьмом небе. (Эйб всегда предпочитал французские словечки американским; он говорил не «дамский угодник», «бабник» или «волопита», а «un homme a` femmes».) Но и многие выдающиеся либералы были на его стороне.

В «Чеккерс» миссис Тэтчер обратила его внимание на картину Тициана: лев бьется в сетях, а мышь грызет веревки, желая его освободить. (Это ведь басня Эзопа?) Маленькая мышка давно стерлась, но ее спас от полного забвения один из величайших людей века – Винстон Черчилль. Он взял кисти и собственноручно дорисовал мифического грызуна.

По приезде из Англии Эйб усадил меня в своей гостиной и все про это рассказал. Он и сам покупал картины – кисти не слишком известных, но достойных французских художников. Некоторые были очень даже ничего. Самая большая – Юдифь с головой Олоферна. Всюду кровь, Юдифь держит отрубленную голову за волосы; полуприкрытые глаза Олоферна закатились, но лицо при этом спокойное, умиротворенное, чистое – как у святого. Мне иногда кажется, он так и не понял, что с ним произошло. Не самая скверная смерть, если хотите знать мое мнение.

Время от времени я спрашивал Равельштейна, почему он повесил на самое видное место именно эту картину.

– Да просто так, без задней мысли.

– Мы пытаемся все, что видим, истолковать с фрейдистских позиций. Вот скажи, что мы таким образом опошляем – его терминологию или собственные наблюдения?

– Тебя никто не заставляет играть в эту игру, – ответил Равельштейн.

Его нельзя было назвать большим ценителем «визуальных искусств», как говорят американцы. Полотна украшали его стены лишь потому, что стены предназначены для картин, а картины – для стен. Его квартира была великолепно обставлена, и картины он выбирал соответствующие. Разбогатев, он постепенно избавился от всех «старых» вещей – на самом деле вовсе не старых, конечно, а просто более ранних и менее дорогих приобретений. Даже живя на одну только университетскую зарплату, Равельштейн умудрялся покупать дорогие диваны и итальянскую кожаную мебель – на занятые у друзей деньги. Когда его книга очутилась на вершине списка бестселлеров, он отдал все старые вещи Руби Тайсон, приходящей чернокожей горничной. Разумеется, за перевозку вещей тоже заплатил он. Ему срочно требовалось свободное место для новой мебели, а ждать он не привык.

Должен сказать, что Руби на работе не перетруждалась. Она натирала серебро и регулярно перемывала кемперовский бело-голубой обеденный сервиз, стакан за стаканом полоскала хрусталь. Гладить она не гладила: его рубашки стирала и наглаживала прачечная служба «Америкэн трастворти». Они же чистили его костюмы и вообще занимались всей одеждой, кроме галстуков – те Равельштейн отправлял аэроэкспрессом парижскому специалисту по уходу за шелком.

Новые ковры и мебель прибывали безостановочно; старые гарнитуры, буфеты и прикроватные тумбы Руби наверняка отправляла своим дочерям и внукам. Старушка была богобоязненная и по телефону разговаривала в чопорной южной манере. Несмотря ни на что, она была очень предана Равельштейну: тот относился к ней с уважением и никогда не лез в душу. Чернокожая матрона пятьдесят лет проработала в университетских семьях и много чего могла порассказать об их шкафах и скелетах. У Равельштейна была неиссякаемая жажда к сплетням. Он ненавидел собственную семью и не прекращал попыток отлучить любимых студентов от родителей. Как я уже говорил, он поставил себе целью выбить из их голов вредоносные родительские взгляды, «стандартизированные заблуждения», насаждаемые безголовыми воспитателями.

Здесь читатель может неправильно меня понять. Не нужно путать Равельштейна с университетскими «борцами за свободу», коих было предостаточно в мои студенческие годы. Они якобы открывали вам глаза на буржуазное воспитание, которое вы получили в родительском доме – и от которого вас должен освободить университет. Эти свободолюбцы считали себя образцами для подражания, а порой и вовсе революционерами. Они болтали на молодежном жаргоне, отпускали длинные патлы и бороды. Эдакие хиппи и свингеры от науки.

Равельштейн ничего подобного не делал – ему невозможно было подражать. Без усердной учебы, без повторения эзотерических потуг истолкования, через которые он сам некогда прошел под руководством своего покойного учителя – одиозного Феликса Даварра, – никто не мог стать таким, как он.

Порой я пытаюсь поставить себя на место какого-нибудь талантливого юноши из Оклахомы, Юты или Манитобы, которого пригласили в закрытый кружок со штаб-квартирой в доме Равельштейна. Вот он поднимается на лифте и обнаруживает перед собой распахнутую дверь, получает первые впечатления от среды обитания учителя: огромные старинные (порой протертые до дыр) восточные ковры, зеркала, классические статуэтки, картины, антикварные французские серванты, люстры и настенные светильники «Лалик». В гостиной – черный кожаный диван, просторный и глубокий. На журнальном столике стеклянная столешница в четыре дюйма толщиной. Равельштейн иногда раскладывал на ней свои пожитки: золотую ручку «Монблан», часы за двадцать тысяч долларов, золотую штуковину для обре-

зания гаванских сигар, огромный портсигар, набитый «Мальборо», зажигалки «Данхилл», тяжелые стеклянные пепельницы, из которых торчали длинные поломанные окурки (сделав несколько лихорадочных затяжек, Равельштейн часто ненароком ломал сигарету). Всюду кучки пепла. У стены, на специальном стенде – сложный телефонный аппарат с кучей кнопок и лампочек, командный пост Эйба. Он гонял его и в хвост и в гриву, причем из Парижа и Лондона ему звонили не реже, чем из Вашингтона. Близкие парижские друзья обсуждали с ним даже самое сокровенное – секс-скандалы. Студенты знали: если Равельштейн зашелкал пальцами, надо тактично удалиться. Он понижал голос и с любопытством расспрашивал о чем-то собеседника. Слушая ответ, он откидывал лысую голову на спинку дивана и поднимал к потолку глаза – они сосредоточенно блестели, рот слегка приоткрывался, длинные ступни в мокасинах вставляли вплотную друг к другу. В любое время дня и ночи Равельштейн мог на всю громкость врубить Россини. Он питал к нему необычайную любовь – и к опере XVIII столетия в целом. У него было одно требование к итальянской музыке эпохи барокко: ее непременно должны были исполнять на аутентичных инструментах эпохи. За музыкальное оборудование Эйб платил огромные деньги – одни только его колонки стоили по десять тысяч долларов за штуку.

Жители всех квартир сверху и снизу вынуждены были вместе с ним слушать Фреско-бальди, Корелли, Перголези и «Итальянку в Алжире». На жалобы соседей он с улыбкой отвечал, что без музыки жизнь невыносима, и на их месте он бы давно смирился и слушал. Однако Эйб обещал им сделать хорошую звукоизоляцию и действительно вызвал на дом инженера. «Я отвалил десять штук, чтобы прослоить стены капоком – и все равно мои комнаты не *insonorisées*»⁸. Впрочем, когда я начинал перечислять ему имена соседей, он не мог сказать доброго слова ни об одном из них, но о каждом имел четкое и обоснованное мнение. То были, на его взгляд, мелкие буржуазные ничтожества, обуреваемые тайными страхами и погрязшие в *amour propre*⁹, всеми силами пытавшиеся создать в глазах окружающих некий благородный образ себя; плоские расчетливые личности (лучше уж «личности», чем «души» – с личностями еще можно что-то поделать, а вот мысль о том, что у этих людей могла быть душа, ужасала). Вся их жизнь сводилась к глупостям и показухе – они не испытывали никакой верности и любви к своему окружению, никакой благодарности, не имели принципов или идей, за которые могли бы положить жизнь. Ибо великие страсти, если помните, антиномичны. А великие герои человечества, чье грозное присутствие в наших сознаниях неистребимо, не имеют никакого отношения к обывателю, нашему «нормальному» заурядному современнику. Все люди, с которыми Равельштейну приходилось общаться ежедневно, вызывали в нем либо нежность и большую любовь, либо безграничный гнев. Он иногда напоминал мне, что слово «гнев» звучит в первой строчке Илиады – «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына». Здесь взору читателя предстает несущая конструкция глубокого Равельштейнова мировоззрения. Величайшие герои мира – философы, – всегда были и будут атеистами. После философов у Эйба шли поэты и государственные деятели. Историки вроде Фукидида. Военные гении, как Цезарь, «благороднейший муж, кому в потоке времени нет равных», и Марк Антоний, его преемник на короткий срок, «один из трех столпов вселенной», поставивший любовь выше политики. Равельштейн любил классическую античность. Он предпочитал Афины, хотя безмерно уважал и Иерусалим.

То были фундаментальные идеи, на которых базировалась его личность и призвание. Если убрать их из мемуаров, то останутся одни лишь его странности и пунктики, безумное мотовство, роскошная мебель, излишества, хохмы и *marche militaire*¹⁰, которым он пересекал

⁸ Звуконепроницаемые (*фр.*).

⁹ Себялюбие (*фр.*).

¹⁰ Военный шаг, поступь (*фр.*).

университетский двор в своем роскошном, подбитом мехом кожаном пальто (лично я что-то подобное видел только раз в жизни – на Гасе Алексе. Этот гангстер и мокрушник, выгуливая собачку, щеголял по Лейк-шор-драйв в норковой шубе).

Время от времени я слышал фразу о том, что любимые студенты Равельштейна получали от него некий «заряд», что он был большой забавник и юморист. Однако «заряд» этот лишь на первый взгляд был юмористическим или развлекательным. На самом деле в аудитории Эйба происходил обмен жизненными силами. Странности и причуды подкрепляли его силы, и он делился ими, одаривал окружающих.

Равельштейн жил согласно своим принципам и идеям. Его познания были настоящими, глубокими, и он мог их задокументировать – в мельчайших подробностях. Он пришел в этот мир, чтобы помогать, наставлять и *подвигать*. И еще – чтобы сохранить величие рода человеческого даже в эпоху буржуазного благосостояния. Жизнь Равельштейна никак нельзя назвать средней или заурядной. Он не признавал скуку и серость. Не терпел депрессию, не выносил хандру. Все его беды носили исключительно физиологический характер. Например, однажды у него начались проблемы с зубами. В университетской клинике его уговорили вставить имплантаты – они внедряются непосредственно в костную ткань челюсти. Хирург завалил операцию; тогда, в стоматологическом кресле, Равельштейн перенес адские муки. Потом он решил выдернуть имплантаты, и эта процедура оказалась еще болезненнее, чем их установка.

– Вот что случается, когда за голову человека берется краснодеревщик, – сказал мне Эйб.

– Надо было тебе ехать в Бостон. Бостонские стоматологи-хирурги считаются лучшими.

– Никогда не доверяй свое тело паршивым специалистам, если не хочешь пасть жертвой их... э-э... *мастерства*.

Равельштейн не придавал значения порядку и чистоте. За день он прикуривал несчетное количество сигарет, но большую их часть либо забывал, либо ломал. Они лежали, точно белые мелки, в его роскошных стеклянных пепельницах. Организм его тоже был не в порядке, но продлевать свой век и не входило в цели Равельштейна. Риски, пределы, черная пропасть смерти давали о себе знать каждую минуту его существования. Когда он кашлял, из его груди доносилось загробное бульканье – так булькает в сточном колодце на дне нефтяной шахты.

В конце концов я перестал расспрашивать Эйба об имплантатах. Время от времени он, по всей видимости, испытывал болевые приступы, которые я стал воспринимать как часть его психофизиологического портрета.

Беспорядочный образ жизни и отсутствие какого бы то ни было режима привели к тому, что Равельштейну редко удавалось проспать всю ночь напролет. Он много готовился к лекциям и за этим делом засиживался допоздна. Чтобы доходчиво рассказать юным оклахомцам, техасцам или орегонцам о диалогах Платона, требовались не только знания, но и исключительные ораторские навыки. Спать до обеда Эйб никогда не умел. Никки, наоборот, мог ночами смотреть триллеры с боевыми искусствами, а потом отсыпаться до двух часов дня. Оба были баскетбольными фанатами и почти никогда не пропускали матчи «Чикаго буллз» по Эн-би-си.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.